

Владислав Острошенко



приложение
к фотоальбому

LITRU.RU

Владислав Отрошенко

**Приложение к
фотоальбому (сборник)**

«Автор»

2007

Отрошенко В. О.

Приложение к фотоальбому (сборник) / В. О. Отрошенко —
«Автор», 2007

ISBN 978-5-9691-0222-4

О загадке этой прозы пишут в России, в Восточной и Западной Европе, в Америке и в Китае, посвящая ей не только рецензии, но и диссертации, энциклопедические статьи. Роман «Приложение к фотоальбому» – историю дома, где обитает род «бакенбардоржденных» дядюшек, – называют «самой фантасмагорической семейной хроникой, написанной когда-либо по-русски». Головокружительное сплетение фантасмагории, мифа и реальности видят и в повести «Новочеркасск», которая увлекает в провинциальную Россию, «самую настоящую и магическую», и в повести «Двор прадеда Гриши», в центре которой пятилетний ребенок – он же повествователь и мифотворец, находящийся вне добра и зла. И все же феномен этой прозы остается неразгаданным, поскольку и сама она исследует таинственные феномены – рождение, жизнь, смерть, сон, явь, – вовлекая читателя в вихревые события.

ISBN 978-5-9691-0222-4

© Отрошенко В. О., 2007

© Автор, 2007

Содержание

Приложение к фотоальбому	6
Часть I	7
Часть II	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Владислав Отрошенко Приложение к фотоальбому (сборник)



Приложение к фотоальбому Роман

Посвящаю дорогим и неизгладимым лицам, которые не дают мне покоя и здесь, в затерянном царстве Друк-Юла, на берегах быстроводной Чинчу.

Повествователь. Королевство Бутан, Тхимпху, без даты



Часть I Африка

Когда у дядюшки Семена сгорели его бакенбарды, он объявил в доме траур, велел завесить черным сатином все зеркала и сам надел черный, с атласным воротничком костюм, провонявший нафталином до такой степени, что все комары и мухи, какие были в доме, тут же повывлетали вон.

К вечеру он разослал всем братьям телеграммы с одинаковым текстом:

**«НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙ, СЫНОК. АДСКИЙ ОГОНЬ ПОЖРАЛ
МОИ БАКЕНБАРДЫ. СЕМЕН МАЛАХОВИЧ».**

Он был не самым старшим среди дядюшек, и бакенбарды у него были не самыми большими – у старшего дядюшки, Порфирия Малаховича, бакенбарды были до плеч и сам он был такой огромный, что в иные двери пролазил с трудом, – но дядюшка Семен почему-то взял себе манеру называть *сынками* всех дядюшек: может быть, потому, что он жил и хозяйничал в доме, где они родились, а может быть, потому, что Аннушка, выродившая на свет всех дядюшек, любила его больше всех.

Дядюшка Семен утверждал, что она родила его втайне от Малаха и что отцом его был вовсе не этот безмозглый и одряхлевший идол, не способный произвести на свет ничего, кроме такого чудовища, как дядюшка Порфирий, или такого убожества, как дядюшка Иося, которого Аннушка, то ли по забывчивости, то ли из сочувствия к его болезненной худосочности, упорно называла «младшеньким», вкладывая в это невинное словечко крупицу снисходительной нежности. Дядюшку Семена это словечко раздражало до крайности. Стоило Аннушке произнести его, вспомнив о бедном дядюшке Иосе, как с дядюшкой Семеном делалось нечто вроде припадка. Он вдруг останавливался посреди комнаты и замирал в какой-нибудь страдальческой позе, точно ему на шею опустили бревно. Некоторое время он стоял, не двигаясь с места, и яростно вращал светло-голубыми, цвета январских сосулек, глазами, пока наконец возмущение, перехватившее ему горло, не обрело язык, отливаясь в немыслимые выражения.

– О чудовищная старуха! – восклицал дядюшка Семен, вскидывая голову и потрясая в воздухе растопыренными пальцами. – О сладкозвучная стерва! – продолжал он после короткой паузы, подыскивая более эффектную интонацию для грандиозной тирады, готовой уже вырваться из его груди без всяких заминок и препятствий, расставленных на ее пути недремлющим актерским инстинктом. – О, сколько же раз я должен тебе повторять, безумная женщина, кто, когда и в какой последовательности выскочил на горе Вселенной из твоего необузданного чрева!

О каком *горе* толковал дядюшка Семен, понять было невозможно. В том, что именно его из всех дядюшек в мире с нетерпением ожидала Вселенная, когда он, точно узник в темнице, томился во чреве Аннушки, водворенный туда не по прихоти случая, как все остальные дядюшки, а по воле самого Провидения, и что Вселенная возликовала, когда наконец в положенный срок перед дядюшкой Семеном распахнулись тайные врата плоти, и что мириады звезд воссияли радостным светом в бесконечном просторе космоса, когда дядюшка Семен огласил первым криком жилище Малаха, – в этом уже никто не сомневался. Но какое дело было Вселенной до остальных дядюшек и чем они огорчили ее, дядюшка Семен не объяснял.

Рождение дядюшки Семена было отмечено многими чудесами и знамениями. В тот год, когда он появился на свет, в огромном доме Малаха вдруг обрушилась посреди ночи северная стена и за ней обнаружилась дотоле неизвестная комната. Это был просторный шестиугольный зал, сверкающий начищенным паркетом и свежевыбеленными стенами; на потолке красовалась совершенно новенькая, не тронутая пылью люстра из позолоченной бронзы и цветного стекла,

похожая на перевернутую корону. Впоследствии именно под этой люстрой дядюшка Семен и произносил все свои монологи и гневные речи, обращаясь при этом к тринадцати пухленьким ангелочкам, которых вылепил на потолке этой комнаты сам Малах: кудрявые младенцы с короткими крылышками изображали радостный хоровод вокруг люстры; они дружно держались за руки и летели в веселом порыве, образуя неразрывный круг, который, как пояснял бесчисленным зятям и невесткам мудрый дядюшка Серафим, лучше других понимавший тайный смысл изречений и поступков родителя, являлся «символом единства» всех тринадцати дядюшек.

Ангелочки были самыми преданными и самыми терпеливыми слушателями дядюшки Семена. Иногда он называл их вонючими чертями и кричал, что побьет молотком всю эту бледскую свору, если она не перестанет улыбаться идиотской улыбкой Малаха, которую он нарочно изобразил на их лицах, чтоб эти мерзавцы всегда могли потешаться над речами дядюшки Семена. Но бывали минуты, когда он проникался нежностью к ангелочкам. Указывая на них, он говорил, что скоро наступит великий день – День Всеобщего Пробуждения. И тогда, говорил дядюшка Семен, глядя на ангелочков глазами, полными ласковых сладостных слез, и тогда эти милые крошки, эти радостные малютки, эти чистейшие чада эфира оживут, встрепенутся и, расправив белоснежные крылья, сверкая ясными лицами, разлетятся по миру, чтоб возвестить обо всем, что они слышали от дядюшки Семена в этом мерзком углу, где никто и никогда не понимал его пламенных чувств, его благородных стремлений, его помыслов и речей о величии Братской Любви и ничтожестве дядюшек, которые только для того и явились на свет, чтоб жиреть на своих пасеках, как дядюшка Порфирий, или чахнуть на вонючей бензоколонке, как дядюшка Иося. Нет, кричал дядюшка Семен, потрясенный собственным красноречием, никогда не возвысится до Любви эти ходячие свидетельства отвратительной старческой похоти полуживого безумца, дерзнувшего поместить свое подлое семя туда, где было уготовлено место для одного только дядюшки Семена...

Под люстрой же дядюшка Семен изрек и то ужасное пророчество, которое стоило ему перелома ключицы и тазовой кости. Он не погиб по счастливой случайности, ибо в тот злополучный день ему вздумалось возвратиться домой из театра в картонных доспехах какого-то древнего витязя. Он расхаживал в них по дому весь вечер, не снимая накладной бороды и приклеенных на лоб больших кучерявых бровей, которые грозно торчали из-под деревянного шлема, густо выкрашенного серебрянкой. Этот шлем и спас дядюшку Семена, когда люстра обрушилась ему на голову тотчас же после того, как он объявил бедной Аннушке, перепуганной до смерти его видом, чтоб она немедленно оставила все дела и готовила доски для Малахова гроба.

– Ибо час кончины бесполезного истукана, – успел сказать еще дядюшка Семен, – час кончины его недалек!..

* * *

Бессмертного к тому времени и вправду уже одолевала немощь. Он до такой степени высох и уменьшился в размерах, что нужно было еще потрудиться, чтобы отыскать его в маленьком темном чуланчике, где он беспрестанно спал, заваленный ветошью и всяческой рухлядью. В этом чуланчике Малах поселился сразу же после того, как сотворил последнего дядюшку. То был Измаил, на редкость живой и подвижный дядюшка. Он был кругленький, плотный, румяный и коротенький, как матрешка. Коротеньким у него было все – и шея, и руки, и ноги, и даже пальцы на пухлых ладошках, припорошенные седыми волосиками. Дядюшка Измаил, как и все в мире дядюшки, родился на свет с бакенбардами. Но этому факту в доме Малаха никто не придавал особого значения. И только дядюшка Порфирий, который все чаще и чаще стал поговаривать о своем одиночестве, о недугах и близкой старости, а за несколько

дней до рождения Измаила обзавелся даже клюкой, – был возбужден чрезвычайно. Едва только дядюшку Измаила, барахтавшегося миллиарды веков в глухой непроглядной бездне, вынесло животворной волною в светлые комнаты Малахова дома, как дядюшка Порфирий, весь год поджидавший этого с нетерпением, подхватил его на руки и, внимательно осмотрев пришельца, завопил на весь дом:

– Да здравствует племя бакенбардоржденных!

Бакенбарды Порфирия, густо осыпанные серебряными искорками, уже кое-где сквозившие, но еще сохранившие форму столбов и живую упругость ветвистых колечек, выглядели в тот день особенно величаво. Говорили, что дядюшка Измаил, завидев бакенбарды старшего брата, из которых на радость младенцу – кувыркнувшись для пущей его забавы – вдруг вылетела пчела, ухватился за них, улыбнулся, и это до того растрогало старшего дядюшку, что он еще долго не мог успокоиться. Целый день он ходил вокруг Измаила – то пытался кормить его сотовым медом, то смотрел на него умиленно, а то вдруг склонялся над люлькой и, округляя мясистые щеки, сильно краснея от радостного усердия, дул что есть мочи в губную гармошку, издававшую сочные звуки и ярко блестящую у него под усами. Месяцев пять спустя он, по рассказам дядюшек, примчавшись без шапки, на быстрой двуколке, хмельной ни свет ни заря, увез Измаила в свою станицу – якобы прокатиться – и больше не возвращал его Аннушке. Воспитывал его там по собственному разумению. Многие в доме потом утверждали, что именно дядюшка Порфирий, приучивший младенца сначала к меду, а затем, потихоньку, и к медовухе, виноват был в том, что у младшего дядюшки, несмотря на всю жизнерадостность и даже некоторую любознательность, так и не обнаружилось ни малейших признаков зрелого ума. До глубокой старости (впрочем, дядюшка Измаил никогда не выглядел старым) он жил на приусадебной пасеке дядюшки Порфирия и, ни о чем не ведая, всегда преисполненный бодрости, воевал целыми днями с пауками, мухами, бабочками и еще с какими-то невообразимыми насекомыми, умевшими будто бы *замораживать мед*.

Утверждали также, что дядюшку Порфирия вполне устраивало слабоумие младшего брата, которого он-де, купив ему ружьишко и фетровую шляпу с пером, приспособил охранять свое обширное хозяйство. Но это уже были злые выдумки, ибо дядюшка Порфирий, хотя и ценил достаток, был не таким уж скрягой, чтоб препятствовать маленьким кражам миролюбивых соседей или степенных кумовьев, заходивших справиться о здоровье и уносивших тихонько кто петушка, кто тяпochку. Что же касается снох и своячениц, наезжавших гостить к нему целыми полчищами и воровавших с большим размахом, то их не могли утешить ни ружьишко (вероятно, ими же и придуманное), ни безумие Измаила, ни, тем более, шляпа с пером. Не боялись они и самого дядюшку Порфирия. К концу его долгой жизни, проведенной в трудах и заботах и исполненной сельского благочестия, они старательно его обобрали, оставив лишь дюжину ульев да оттоманку с растрепанным валиком, сиротливо стоявшую в доме среди оголенных стен, которые долго еще тосковали, сверкая белыми пятнами, одна о могучем затылке буфета, другая – о красочном коврикe.

Примечательно было то, что дядюшку Порфирия, привыкшего жить в окружении прочных вещей и видеть изменчивость жизни сквозь дымку надежного изобилия, утрата былого уюта и явное оскудение хозяйства несколько не огорчили. Напротив, он встретил разорение с гусарской бравадой, с восторженным изумлением.

Попивая из кружечки медовуху, он выходил во двор в засаленном черном бешмете, в котором когда-то служил на Кавказе, и, весело озираясь вокруг, ударяя клюкою в землю, восклицал:

– Что, Измаил, растащили нас! А! Растащили!

И дядюшка Измаил, хотя и не понимал, о чем толкует Порфирий, радостно улыбался брату. Подмигивал ему в ответ. И тоже немножко гусарил: вдруг хлопал себя по ляжкам и,

ухнув, пускался впрыска – летел, подбоченясь, до самой калитки и дальше, на улицу, на простор.

Позднее, когда дядюшка Порфирий скончался – не так, как ему мечталось, не на пуховых подушках, а в пыли, на чердаке, куда он забрался чинить дымоход («Такой вот был хлопотун, – говорила Аннушка, – не мог сидеть без дела»), – появилось иное мнение относительно дядюшки Измаила и тех обстоятельств, которые, как уклончиво выражались в доме, послужили причиной его *удрученности*. Его живая натура, рассуждали дядюшки, его необычайная впечатлительность и беспокойный характер требовали к себе особого внимания со стороны родителя, чье мудрое сердце, сохранись в нем хоть искра родительской нежности, могло бы стать драгоценным источником животворящего света для темной души Измаила. Нежности, говорили дядюшки, как раз и не хватило Малаху. Она иссякла в нем еще до рождения Измаила, который был, по их мнению, не таким уж законченным *идиотом*, как иногда утверждали некоторые из дядюшек, точнее – всегда и один только дядюшка – дядюшка Семен, произносивший с большим удовольствием это скандальное слово. Дремлющий ум Измаила, погруженный в хаос ошибочных образов, мог бы вполне пробудиться, убеждали друг друга дядюшки, мог бы развиваться со временем, и даже, быть может, блестяще, если б Малах не оставил младенца, если бы он не исчез бесследно, как потом оказалось – на долгие годы, поселившись в далеком чуланчике. Или – в сердцах говорили иные из дядюшек – если бы он соизволил хотя бы предстать перед бедным малюткой в час, когда тот появился на свет!..

Но тогда его не было даже поблизости, и где находился бессмертный, в доме никто не знал. В тот день, когда он в последний раз закинул свои древние снасти в пучину небытия, чтоб выудить оттуда дядюшку Измаила, он был, по свидетельству Аннушки, «печален, как старая обезьяна». Съежившись всем своим маленьким, светлокорицевым телом, от которого пахло холодным воском, бессмертный долго сидел в ее спальне на кожаном диване с высокой выпуклой спинкой и, положив на узкую грудь длинный и, точно булыжник, твердый, свисающий чуть ли не до пупка подбородок, смотрел на портреты дядюшек, развешанные по стене в три ряда. Пожелтевшие белки его маленьких неподвижных глаз тускло светили янтарными огоньками из глубоких глазниц, обрамленных кольцами рыжеватых волос; эти кольца беспрестанно дрожали, то сужались, то расширялись, – бессмертный, казалось, вот-вот заплачет. Но когда он оделся и вышел из спальни, на лице его вдруг появилась улыбка, сначала едва заметная, а потом все более явная. Он улыбался так (поглядывая в сторону), словно кто-то его щекотал за ухом, какой-нибудь озорник пушистым колоском весеннего злака. С этой улыбкою на лице он поплелся куда-то – очевидно, в южные комнаты, где любил бродить в одиночестве, – и там затерялся.

Аннушка тогда выразила слабую надежду, что бессмертный, быть может, заблудится окончательно в своем доме и уже никогда не отыщет дорогу к ней в спальню: рожать и вскармливать дядюшек ей надоело до боли в печенках. Она сказала это в присутствии дядюшки Семена, о чем потом сожалела, потому что Семушка, только что возвратившийся домой с репетиции и еще находившийся во власти грозной и пылкой риторики какого-то желчного полководца, ужасно разволновался.

– Да-да, – поспешил он заверить ее, – ныне вздохнет с облегчением несчастная женщина! Ибо кончилось время Малаха производить народы из чресел своих!

К этому он добавил еще какие-то темные, не понятные Аннушке заклинания. Долго и вдохновенно говорил о каком-то бессовестном боге, пожирающем своих младенцев; о безумном драконе, обреченном вечно заглатывать собственный хвост; об ужасном чудовище, терзающем окровавленной пастью беззащитное женское лоно. И закончил тираду страшной пляской под люстрой и дикими криками:

– Уроборос, уроборос! Сгинь! Сгинь!

Малаха не видели в доме лет сорок. Никто о нем даже не вспоминал. И только дядюшка Семен иногда брезгливо втягивал воздух своим, как он сам выражался, «по-актерски чувствительным носом» и заявлял, что в доме ужасно смердит.

– О боги, – говорил он, размахивая платком, – Малах забился в какой-нибудь угол и издох, как хорек!

Разумеется, Аннушке было невыносимо слушать подобные речи. Стараясь не употреблять безжалостных слов, которые напрямую обозначают некоторые явления и предметы, отвратительные для всякой живой души, она настойчиво уверяла Семушку, что в доме «никаких таких запахов» нет. Но дядюшка Семен не унимался. Он запугивал Аннушку санитарями. Мама святые! Он угрожал ей, что вызовет их нынче же, если она не прикажет дядюшкам, чтоб они собрались все разом и отыскивали вонючие останки своего родителя. Кто такие санитары, Аннушка точно не знала, но все же чувствовала душою, что их появление в доме – это «неслыханное позорище», допустить которого она не может. Как бы там ни было, говорила она, подразумевая под этим «как бы там ни было» прискорбное состояние человеческого тела, которому дядюшка Семен дал столь резкое и неблагозвучное определение, она не позволит выставлять на посмешище порядочный дом, – санитары ей представлялись то ли кладбищенскими чиновниками с немислимыми обязанностями и наклонностями, то ли – понять ее было трудно – особого рода могильщиками, из числа опустившихся докторов, бойкими и разнузданными, да к тому же еще преисполненными чудовищной артистичности; словом, ей представлялось приблизительно вот что: что дядюшка Семен наведет домой каких-нибудь гадких шутов с погоста, и они будут корчить безобразные рожи, будут нахально рыскать по дому, делая вид, что ищут покойника или еще какую-нибудь пакость. Нет, повторяла Аннушка, этого она никогда не позволит. И если дядюшке Семену *что-то такое* чудится, обиженно говорила она, то это вовсе не потому, что *оно* есть на самом деле, а только потому, что дядюшка Семен всегда непочтительно относился к Малаху, а Малах, он какой-никакой, а все ж таки родитель всех дядюшек, и дядюшки Семена в том числе... Ей-ей, апостолы милосердные! Она так и сказала ему: «Малах твой родитель, Семушка», – и это было великим чудом, что язык ее тотчас же не отсох и что молния не ударила в дом Малаха и не убила на месте несчастную женщину. Во всяком случае, сам дядюшка Семен в ожидании чего-то ужасного с минуту стоял согнувшись, с зажмуренными глазами, и только потом уже начал хватать себя то за грудь, то за голову, совершая в обычном порядке те особые телодвижения, которые всегда предшествовали его монологам под люстрой.

Впрочем, то был один из тех редких случаев, когда дядюшка Семен разражался речью не под люстрой, а в спальне Аннушки, где находились, так сказать, наглядные пособия – фото-портреты дядюшек.

– Boot!.. – хрипел он, задыхаясь и содрогаясь точно в горячке. – Вот эти... никчемные боровы!.. Вот истинные произведения Малаха!

Тут рука его, протянутая к портретам и нервно метавшаяся в воздухе, неожиданно застыла; другую руку он прятал за спину и, сделав три шага вперед (можно было подумать, что дядюшке вздумалось вдруг репетировать роль дерзкого дуэлянта), говорил с торжествующим, мстительным пылом:

– Боже! Все на одно лицо!

И он был, конечно же, прав. Физиономии дядюшек, смотревшие с портретов, при всем их несомненном различии, выражавшемся главным образом в длине и густоте бакенбардов, в наличии или отсутствии усов, – дядюшка Нестер, к примеру, усов никогда не носил, довольствуясь крепкой кольчужкой «сенаторских» бакенбардов, тогда как у дядюшки Павла, четвертого сына Аннушки, усы просто буйствовали на лице, «как у короля Виктора-Эммануила», говаривал он не без гордости, подсмеиваясь при этом над дядюшкой Серафимом, чьи тонкие, тоньше, чем хвост стрекозы, изящные усикишевалье казались дядюшке Павлу едва ли не самой

комической вещью на свете, – являли собою картину дружного однообразия. Все они были одинаково широки, с одинаково увесистыми подбородками и одинаково сросшимися бровями. Даже маленькая круглая ряшка дядюшки Измаила, позже всех появившаяся на стене, вполне бы могла сойти за уменьшенную копию здоровенной физиономии старшего дядюшки, по которой, уже не таясь, по-хозяйски разгуливали муравьи, заглядывая в пыльные трещины снимка.

Что же касается дядюшки Иоси, то его портрет, висевший во втором ряду, между портретами дядюшки Никиты и дядюшки Мокея (на обоих мундиры вахмистров, и оба весело улыбаются чему-то), являлся предметом отдельного и более детального разговора. Дело в том, что дядюшка Иося по какой-то досадной случайности был совсем не похож на борова, и поэтому, прежде чем и его, смотревшего то ли с признательным любопытством, то ли, напротив, с большим отвращением на фигурный вазончик, поставленный перед ним расторопным фотографом, отнести к разряду «истинных произведений Малаха», нужно было еще разъяснить бедной Аннушке, что дядюшка Иося, к которому она относилась с излишней нежностью, вовсе не исключение из правила, а всего лишь особая разновидность убожества.

Именно с этой целью дядюшка Семен снимал его портрет со стены и выбегал с ним в шестиугольный зал, где ему, вероятно, было сподручнее разъяснять «вопрос о дядюшке Иосе», так как в этом огромном зале, шумно вздыхающем, ахающем и как бы слегка трепещущем (столь эффектна его акустика), голос дядюшки Семена звучал гораздо торжественнее и убедительнее, чем в других, даже самых гулко-пустынных и необозримых комнатах, вроде тех, о которых рассказывал с ужасом дядюшка Павел, побывавший однажды на юге Малахова дома и видевший там такие трагические просторы, охваченные безжизненностью, и такую свирепую паутину, в которой висели ящерицы и будто бы даже стулья, что вернулся оттуда, неунывающий весельчак, с седым бакенбардом...

В шестиугольном зале дядюшка Семен говорил подолгу, не прерываясь ни на мгновение. Стены, таившие звучное дробное эхо, и зеркала в широких простенках, куда он поглядывал время от времени, отмечая сценические достоинства примененного жеста или выбранной позы, воодушевляли его, придавали уверенности. Дядюшке Семену казалось, что и на Аннушку шестиугольный зал действует благотворно, что здесь она слушает его осмысленно – не так беззаботно, не так рассеянно. Ему представлялось даже, что только в этом, живом и чудесном, чудодейственном зале озаряется светом Истины ее маленький праздный умишко, затуманенный ложными чувствами к дядюшке Иосе. Но это уже заблуждение, и притом «капитальное», как заметил бы дядюшка Серафим, если б ему вдруг представился случай порассуждать о причинах и следствиях всех заблуждений на свете; он рассуждал бы неторопливо, задумчиво дергал бы тоненький усик во время длительных пауз (жест, доводивший дядюшку Павла до бурных припадков веселья), и наконец указал бы на то, что чрезмерная взволнованность... гм... гм... лишает проницательности всякого человека, в том числе и дядюшку Семена, которому чрезмерная взволнованность мешала заметить, что Аннушке совершенно безразлично, где слушать его разъяснения. Ни в спальне, ни в шестиугольном зале, куда она покорно перемещалась вслед за оратором, она их понять не могла. Ибо она вообще с трудом понимала замысловатый язык, на котором Семушка выражал свои чувства и мысли в минуты «скандального настроения».

Позабыв даже думать и о Малахе, и о страшной картине нашествия санитаров, живо нарисованной ее невежественным воображением, Аннушка смирно сидела в углу на стуле и, погружаясь в сладкую дрему, старалась уловить угасающим слухом: который из дядюшек чаще других упоминается в монологе дядюшки Семена. И если в сплошном потоке невообразимых и неисполнимых угроз, чудовищных клятв, пророчеств и заклинаний, извергавшихся из груди дядюшки Семена вперемежку со стонами, вздохами и завыванием, ей наконец удавалось заприметить яркую щепку (то есть имя дядюшки Иоси), то и дело всплывавшую на поверхность темной неудержимой стремнины, она открывала глаза и говорила как можно ласковей:

– Семушка, зачем ты ругаешь Иосю? Он жалкий...

– Жжж-алкий?! – вскрикивал дядюшка Семен. И, размахивая портретом, притопывая и подсакивая, кружился под люстрой, точно его ужалил тарантул. – Жалкий! – повторял он неистовым шепотом и, наклонившись вперед, медленно приближался к Аннушке, свирепо двигая скулами, на которых качались, отливая огненной синевой, дивные бакенбарды, похожие на тугие, плотные гроздья черного винограда. – Я вашего подлого Иосю съем! – шипел он сквозь зубы и затихал, выжидая, что скажет на это Аннушка.

Аннушка, ерзая на высоком стуле и оживленно болтая в воздухе маленькими ножками, высохшими от беспрестанной беготни по дому, молча смотрела на дядюшку Семена, надеясь, что представление идет к концу. Но тут, бывало, дядюшке Семену нечаянно вспоминался пылкий эпитет из пьески, прочитанной им накануне, или вдруг приходило на ум величественное сравнение, обещавшее стать началом нового монолога – *О бесчисленных подлостях дядюшки Лоси*, – и он снова возвращался под люстру.

– Слууушайте, ааангелы!.. – затягивал он нараспев. – Нет, вы только послушайте! – настаивал он, будто ангелы слушать не соглашались. – Иосиф Малахович, пятый сын этой женщины, жаалкий!.. Да он же Иуда! Иуда! Он продал все, что было святого в этом несчастном доме!

Что мог продать бедный дядюшка Иося, маленький, худенький, лупоглазый, похожий на удивленного индюшонка? Ничего, кроме горячего на своей до крайности неопытной и опасно доступной для зевак с зажженными папиросками бензоколонке «Криница Гефеста», которая торчала, наполняя воздух удушливыми испарениями, у центральных ворот Экипажного рынка, он во всю жизнь не продавал. Но взгляд дядюшки Семена на вещи был не такой уж поверхностный, чтоб видеть в дядюшке Иосе безобидного продавца бензина. Нет, продал дядюшка Иося ни много ни мало, а самого дядюшку Семена. И если у Аннушки отшибло память до того, что она позабыла даже, кто был отцом дядюшки Семена, то, разумеется, вовсе не удивительно, что не помнит она и другого – не помнит, что именно дядюшка Иося выдал Малаху *священную тайну рождения дядюшки Семена*.

– Да-да! Ваш замечательный! Ваш кроткий! И ваш наиподлейший Иося!

Дядюшка Семен, конечно же, не допускал и мысли о том, что *тайну* мог выдать любой из дядюшек, а главное, что выдать ее мог и сам дядюшка Семен, поскольку он, невзирая ни на какие замечания Аннушки, на ее робкие возражения, а иногда и отчаянные протесты, утверждал при всяком удобном случае, и особенно в присутствии бессмертного – до того, как тот удалился в чуланчик, и позднее, когда он там отыскался случайно среди батальных полотен, помятых тазов и сгнивших диванов, наваленных в кучу, – что будто бы отцом его был заезжий грек – бесподобный артист, баснословный богач, владелец трех цирков в Китае, да к тому же еще чародей и провидец. Ну и, конечно, красавец, каких свет не видывал, каким был и сам дядюшка Семен, тайный сын гениального грека.

* * *

Малах был на первой мировой войне, когда греку и Аннушке вздумалось сотворить дядюшку Семена. Аннушка, правда, не сразу решилась на это. Долгое время она бесплодно томилась, сгорая душою и телом в «буйном пламени страсти», и даже чуть было не лишилась рассудка от безграничной нежности к греку, с которым встречалась украдкой то под сенью столетних каштанов в Большом Атаманском саду, где стоял на ветру, весь в драконах и звездах, его цирк-шапито, то в заброшенном скверике близ Войсковой канцелярии, где им до зари светило окошко дежурного сотника. «Да будет оно вовек благословенно!» – говаривал дядюшка Семен. «И да пребудут в раю все сотники, дежурившие в канцелярии!» – добавлял ехидно дядюшка Павел, который, впрочем, однажды клялся Пресвятой Богородицей, что именно он

в те весенние ночи дежурил по канцелярии и что будто он помнит отлично и пылкого грека под липами (видел его в окошко), и Аннушку в пестренькой шальке, приходившую в полночь к нему на свидания. Разумеется, Аннушке очень хотелось оставить на память о своей безумной любви что-нибудь «живое и трепетное», что-нибудь вроде дядюшки Семена, но она опасалась, что Малах не простит ей такую слабость и, вернувшись с войны, непременно разрубит ее пополам дьявольски острой шашкой, пожалованной ему за воинскую доблесть последним императором России.

Однако ж в счастливый для дядюшки Семена день случилось так, что в дом Малаха неожиданно-негаданно, точно ангел с небес, явился некий израненный воин. Он был об одной ноге, весь в окровавленных бинтах, в мундире есаула лейб-гвардии Казачьего полка. Расхаживая по комнатам на костылях и беспрестанно сплевывая на паркет желтую от табачного дыма слюну, он поведал Аннушке сердитым и хриплым голосом историю ужасной гибели Малаха. О! это чудовищная история. Они ведь были с Малахом друзьями, и это трудно, трудно рассказывать. Но израненный воин расскажет. Была атака! Кругом стреляли! И всех рубили! И всё взрывалось к чертовой матери! Они бежали с Малахом бок о бок на вражеские окопы. Они кричали – ура! И Малах бежал молодцом: он кричал громче всех и размахивал саблей, как яростный бес, и очень метко во всех стрелял... А потом Малах приотстал маленько и бежал чуть-чуть позади, а израненный воин бежал впереди. И когда израненный воин обернулся, чтоб посмотреть на Малаха, то увидел, что его задушевный приятель бежит без головы, потому что голову ему давно уже отрубили. Но Малах все бежал и бежал молодцом. И геройски добежал до самых окопов. После боя израненный воин с трудом отыскал его голову: она лежала себе тихонько в бурьяне, и рот у нее был широко открыт, потому что Малах ведь все время кричал – ура-а-а-а!.. Ну а кто отрубил ему голову – о! разве там разберешь! Кругом стреляют и рубят головы, к черту собачьему!

Аннушка не поверила воину. Она сказала ему что-то горькое и обидное; она сказала, что Малах никогда не бегал, а всегда воевал на коне. Но израненный воин не промолвил в ответ ни единого слова. Он молча выслушал возражения Аннушки, а потом развязал заплечный мешок, вытащил оттуда голову Малаха, бережно положил ее на стол и ушел, постукивая костылями.

В тот же день примчался к Аннушке грек. Он был неотразим, ее очаровательный палач, ее возлюбленный маг. В этот день он предстал перед нею в полном великолепии. Дядюшка Семен говорил, что его незабвенный родитель подъехал к дому Малаха на ста двадцати цирковых лошадях, запряженных цугом в золоченую колесницу. Ой-ёй, демоны ада, как же это было красиво! Он взбежал по высоким ступенькам к парадным дверям, распахнул обе створки и вошел – в белом фраке и синей чалме, украшенной алмазным пером; из ушей его изливались голубые струйки огня; сотни дивных жемчужин, точно крохотные планеты, вращались в его усах: они озаряли весь его лик едва уловимым сиянием, нежно искрились, расточая перламутровый блеск, и при малейшем движении мага ярко вспыхивали разноцветными огоньками, мгновенно выстраиваясь в диковинные созвездия. Аннушка остолбенела от изумления, увидев своего красавца. Она хотела было рассказать ему обо всем, что приключилось с Малахом, но не успела промолвить двух слов, как он замахал руками и знаками ей показал, что ему уже все известно. В доказательство этого он взял свою голову, приподнял ее так, что она совсем отделилась от тела, тихонько встряхнул ее – представляете? – встряхнул ее, как шкатулку, и она вдруг разинула рот и голосом самого Малаха протяжно закричала:

– Ура-а-а-а!..

А потом он приблизился к Аннушке, наклонился к ней и негромко сказал:

– Есаул совершенно прав, драгоценная Аннушка... Твой Малах не вернется с войны.

Он произнес эти горестные слова с таким любовным волнением и с такой изысканной нежностью, что Аннушка обомлела. Грек подхватил ее на руки, отнес в спальню. И они щебетали до полночи, точно небесные птички; они осыпали друг друга то страстными клятвами,

то тихими поцелуями. А в полночь, когда звезды хрустально сверкали над городом, они наконец-то слились в объятиях и в полном согласии изумленных сердец зачали лучшего в мире дядюшку!

* * *

Каково же было удивление Аннушки, когда через восемь месяцев к ней явился другой есаул. Этот был при параде, с руками, с ногами, в белоснежных перчатках и в шапке с султаном. Он разговаривал с Аннушкой коротко и тоже сердито, как и тот есаул, что был до него.

Недовольно поглядывая в окно, он сказал ей, что Малах ее жив и что он со дня на день вернется с войны. А что до той головы, которую принес ей израненный воин, так это, скорее всего, не Малахова голова, заключил есаул, а чья-то другая... или другого? или как тут еще сказать? провались они пропадом, эти головы! Их там до черта. Ну просто до черта! Валяются страшными кучами по полям и окопам. И бес их там разберет – которая чья! Всяких, всяких голов хватает. Есть похожие на его, есаулову голову, и на Малахову голову тоже, и даже на голову самого царя! Потому что война! Война!!! – заорал есаул в сердцах.

И с этим ушел.

* * *

Грек не стал дожидаться возвращения Малаха. Он свернул балаганы, погрузил на телеги цирк-шапито, усадил в шарабаны китайских танцоров и спешно уехал в Африку.

В ночь перед отъездом он зашел попрощаться с Аннушкой. Сцена была печальная и в тоже время исполненная глубокого смысла. Он, согнувшись, сидел у изголовья ее постели, в дорожном плаще, с саквояжиком на коленях, и, вытирая платком с ее щек горячие струйки слез, что-то отчаянно шептал по-гречески. Это были слова пророчества. И если бы Аннушка понимала по-гречески, то дядюшке Семену не пришлось бы теперь втолковывать ей, что сказал той памятной ночью грек. А сказал он вот что. Он сказал, что Малах с неделю назад сбежал из австрийского плена; что он собрал по лесам разбойников, дезертиров, калек и блудниц, побрил их всех наголо, посадил на коней и с этой ублюдочной армией, выдавая себя за бутанского короля, пробивается к дому через Юго-Западный фронт. Дней через десять, сказал грек, Малах достигнет Области войска Донского и лагерем станет в степи у западных стен своего дома. Ему останется совершить еще один переход – до парадных дверей. Но поутру, как только вся его свора погасит костры и усядется на коней, мрак падет на сарматские степи и начнется пурга на Дону. Да такая пурга, что аж не дай Бог! Гранитные Бабы будут срываться с курганов и как щепки летать по небу, кувыряясь в сверкающих вихрях. И Малах, он тоже поднимется в небо, и не только что в небо – а в звездную бездну улетит твой Малах, драгоценная Аннушка! И будет он долго носиться, свирепо махая шашкой, в безмолвных просторах Вселенной. Будет вопить, ужасая весь космос, и таращить глаза в пустоту, покуда они не станут стеклянными от холода и тоски! А потом, сказал грек, сатанинские ветры закинут Малаха куда-нибудь далеко – на восток, за Хвалынское море, и дальше, за Каракумы, и аж на Гималайские горы! И пока он дойдет оттуда, осыпая проклятиями землю под своими подошвами, пока доберется, голодный, искусанный псами и змеями, до стен своего жилища, Аннушка здесь, в этой спальне, родит без мук и без боли сына их полуночной любви... Как и все ее сыновья, он родится на свет с бакенбардами. Только это будут особые бакенбарды (о том, что они загорятся нечаянно, когда дядюшка Семен вдруг возьмется от скуки чинить старый примус, грек не сказал ни слова) – бакенбарды царственной красоты. Как священные талисманы, они будут хранить ее сына от невзгод и ударов судьбы. Ему передадутся многие способности грека, многие его земные и неземные таланты. Но пусть он ими пользуется осмотрительно. Пусть бережет их до времени.

Ибо таланты будут даны ему не для того, чтоб он вслед за родителем растранижил их на потеху безумцам в балаганах и цирках этой скорбной планеты. Нет, ему Провидением предназначено больше, чем греку! Он научит людей любить друг друга. Потому что ему и только ему будут известны такие слова, которыми он растолкует всем людям, что нет на земле ничего прекраснее Братской Любви. Этих великих слов, раскрывающих смысл мироздания, будет не так уж много: может быть, три, а может, четыре, исключая предлоги и междометия. Он изречет их где-нибудь здесь, в северной части Малахова дома, недалеко от Аннушкиной спальни. И это случится неожиданно-негаданно, в какой-нибудь серый невзрачный денек, который потом назовут Днем Всеобщего Пробуждения. Грек нарочно не станет теперь говорить, когда он наступит, этот радостный день, и сын его в этот день не даст никаких знамений. Нет уж, пусть его братья – все, от Порфирия до Измаила (грек и тогда уже знал, что последним у Аннушки будет дядюшка Измаил), жадно внимают его речам. Потому что – кто его знает! – три-четыре великих слова могут в любое время слететь с его уст. И тогда... о! тогда уже горе! Горе тем, кто их не заметит! и проклятие тем, кто их не расслышит!

Так сказал грек по-гречески.

А по-русски он сказал, чтобы Аннушка назвала тайный плод их нежной любви дядюшкой Семеном и чтоб она, еще до прибытия Малаха, сдала его в сиротский приют. Грек в приюте обо всем уже договорился. И заплатил там всем кому надо очень большие золотые русские деньги!.. Словом, пусть он месяц-другой поживет в сиротском приюте. А когда вернется Малах, женское сердце подскажет Аннушке, как обвести вокруг пальца старого болвана!

На этом они распрощались. Грек припал губами к Аннушкиному плечу, запечатлел на нем свой последний поцелуй и вышел в ночное пространство. Кони заржали, сонно качнулись головки китайских танцоров. Шарабаны двинулись в Африку.

* * *

После отъезда грека до Аннушки доходили кое-какие сведения о его жизни. Стало известно, что в Африке грек очутился нескоро. Утраты и злоключения преследовали его в пути. На суровом Кавказском фронте казаки отобрали почти всех цирковых лошадей; в Иране германские дезертиры отбили слона; в Месопотамии обоз обстреляла шрапнелью чья-то свирепая артиллерия; в Сирии кто-то умело и подло зарезал акробатов; в Египте его самого едва не зарубил турецкий кавалерист. Кое-как с бельгийскими войсками он добрался до экватора. Но и там его ожидали беды. В Конго, где он, между прочим, давал представления с величайшим триумфом, у него украли китайских танцоров. В Уганде он заболел лихорадкой. А через некоторое время алжирский фокусник, прилепившийся к нему еще на Кавказе, поджег его цирк.

В Европу он возвратился с одним саквояжиком. Три года скитался по разным странам, нищий как бог, без копейки в кармане, пока не поступил на службу солдатом в сказочно маленькую армию Светлейшей республики Сан-Марино.

В армии грек служил молодцом. Он лучше всех шагал на парадах и имел отличную выправку. Его заметили капитаны-регенты и за исправную службу, а также за доблесть и мужество – «за искрометное сердце и гордую поступь», как говорилось в приказе, – назначили грека главным тамбурмажором санмаринской армии. О Дева Святая! с каким вдохновением, с какой восхитительной виртуозностью! – вспоминали потом санмаринские офицеры – он вращал и подбрасывал в воздух летучий сверкающий жезл! Как ликовала армия и жители Сан-Марино, когда грек, задорный и строгий, весь в огнях золотой канители, выступал на парадах торжественным шагом впереди барабанщиков и флейтистов!

Должность тамбурмажора, рассказывал дядюшка Семен, принесла бескорыстно служившему греку небольшой капиталец, которого, впрочем, было достаточно, чтобы открыть, к примеру, винный завод или театр. Но грек не спешил расставаться со своею крохотной армией,

о которой он говорил, что только такая армия, чье мужество в блеске парадов, чья доблесть в изяществе шага, узрит беспечальный рассвет Дня Всеобщего Пробуждения. «Вы, солдаты моей души! И вы, офицеры сердца! – говорил вдохновенно грек. – Вы войдете парадным маршем, озаренные блеском немеркнущих горнов, в золоченые двери последнего дня! Да, солдаты, он будет последним и он будет первым и вечным, потому что он будет Единым, светлым днем всего мироздания, пробужденного для любви! И потому я учу вас сегодня. Нет, я приказываю вам, мои дорогие. Выслушайте мой приказ. Соедините доблесть с любовью – и то, что возникнет из этого, да будет вашим оружием! Сплавьте в сердцах ваших нежность с отвагой – и этот сверкающий сплав да будет зерном вашей ярости, свинцом ваших блещущих пуль! Пусть будет любовь ваша выше отваги, а доблесть выше любви. Но пусть никогда не возвысится доблесть над всепоглощающей нежностью. Ибо она будет солнцем и звездами, и небом, и светом, и сущностью света Дня Всеобщего Пробуждения. Вы войдете в него, солдаты! Но не я – Сам Создатель Вселенной будет вашим тамбурмажором! Он возглавит парадное шествие и поведет вас, отважных, на плац, где будут приветствовать вас Его белокрылые ангелы!..»

Так учил грек санмаринскую армию.

Прослужив еще некоторое время и получив Рыцарский орден за гражданские и военные заслуги, – какой именно степени, дядюшка Семен сказать теперь точно не может, – грек все ж таки вышел в отставку, ибо мечтал о задумчивом одиночестве, которого ему так не хватало всю жизнь. Сообразуясь с этой его мечтой, капитаны-регенты приказали построить для грека в тихой миртовой роще на склоне горы Титано маленький домик с резными пилястрами и окошком на юг. В этом домике отставной тамбурмажор, живя в полном уединении – два солдата гвардии нобили охраняли его покой, – написал книгу пророчеств о Дне Всеобщего Пробуждения. Рукопись книги он оставил на письменном столе и исчез. И больше о его судьбе ничего не знали ни гвардейцы, ни капитаны-регенты Светлейшей республики Сан-Марино. Его домик, как сообщил потом Аннушке один санмаринский патриций, был немедленно передан в собственность армии. Сан-маринские офицеры, приятели грека, тотчас решили открыть в нем музей, который хотели назвать музеем Доблести и Любви. Были собраны экспонаты – барабаны, рожки и флейты, кое-какие афиши: одну купили в Китае, две – у султана Брунея, где грек гастролировал в давние годы, еще до знакомства с Аннушкой. На самом видном месте, прямо над письменным столом, где лежала накрытая стеклянным колпаком книга пророчеств грека, повесили тамбурмажорский мундир и жезл, которым грек добыл себе славу и всеобщее уважение в Светлейшей республике.

Среди прочих экспонатов, бережно собранных сан-маринскими офицерами и размещенных в домике грека, была и фотография Аннушки, найденная в его саквояжке, в том самом, с которым он ездил в Африку и который был весь исцарапан ее дремучей растительностью. Снимок был сделан в июле 1914 года. Аннушка стояла, придерживая рукою плоскую шляпку, на тротуаре Платовского проспекта возле здания войсковой гауптвахты, перечеркнутого наискось пыльным, мутным лучом полуденного солнца. Нога караульного, повисшая в воздухе и задорная собачонка, охотно метнувшаяся к ней, попали случайно в этот дремотный луч и были видны в нем с той бессмысленной и назойливой отчетливостью, какую обретают на драгоценных снимках второстепенные образы. К таким же второстепенным образам относился и чей-то широкий затылок в белом штатском картузе, исчезающий (но так и не исчезающий) в темном проеме высоких дверей гауптвахты, куда Аннушка ходила в то лето почти ежедневно навещать дядюшку Никиту, сидевшего под арестом за то, что он надерзил подхорунжему во время лагерных занятий Донской кавалерии. Подхорунжий был очень важный, из лейб-гвардии Атаманского полка, да к тому же кавалер Станислава. И хотя у дядюшки Никиты тоже был Станислав третьей степени с золотыми мечами и бантом, пожалованный ему за его бесшабашное мужество на русско-японской войне, это его не спасло от ареста, потому что он слишком уж резко ответил лейб-гвардии подхорунжему, когда тот, заметив оплошность, допущенную дядюшкой

Никитой при построении конного арьергарда, взялся учить его в долгих и бесконечно учтивых словах, как правильно надо командовать кавалеристами.

– Надеюсь, вы все понимаете? – спросил подхорунжий, обеспокоенный тем, что дядюшка Никита рассеянно смотрит в сторону.

– Сморчок! – сказал тогда дядюшка Никита громко и внятно, словно очнувшись, и направился было к своему рысаку. Но тут же был взят под стражу по приказу случившегося рядом полковника...

Ничего этого, конечно, сан-маринские офицеры не знали, как не знали они и того, что сфотографировал Аннушку возле гауптвахты фотокамерой «Ласкер и Штульман» репортер «Донского кавалерийского листка» Роман Ходецкий, которому грек был обязан знакомством с «очаровательной есаульшей» («Моя очаровательная есаулыша», – написано рукою грека по-русски на плотном сиреновом паспарту с оттиском герба Области войска Донского). Ходецкий поместил снимок на четвертой странице «Листка», сочинив к нему вежливо-укоризненную подпись:

«Мать вахмистра Никиты Малаховича Мандрыкина, наскандалившего на кавалерийских учениях, пришла навестить своего сына на гауптвахте, где он находится сейчас под арестом и будет выпущен на волю не иначе, как по распоряжению господина войскового атамана, лично вникающего во все обстоятельства сего происшествия. Мы уже писали о нем подробно на прошлой неделе. Напомним только, что названный вахмистр проявил неслыханное неуважение к вышестоящим чинам. Случай этот тем более прискорбен, что бросает тень на почтеннейшего вахмистрова родителя Малаха Григорьевича, произведенного недавно в есаулы лейб-гвардии Его Императорского Величества Казачьего полка, а также на братьев его – вахмистра же Мокея Малаховича и сотника Павла Малаховича, о которых войсковое начальство отзывалось в самых лучших выражениях. Что же касается матери арестованного, то она с осуждением относится к поступку сына, о чем и сказала нам, присовокупив, что Никита Малахович искренне раскаивается в необдуманности содеянного».

Грек примчался в редакцию «Листка» на Комитетскую на следующий же день. Он заплатил репортеру за снимок аж три золотых империяла! И столько же за обещание привести Аннушку в цирк на вечернее представление.

Она пришла спустя две недели в сопровождении Ходецкого и дядюшки Павла, зачем-то закутанного в черный плащ и вооруженного револьвером: сам дядюшка Павел не объяснял – зачем; он ограничивался лишь тем, что подтверждал, и довольно охотно, слова дядюшки Семена. «Да-да, – говорил он, приосаниваясь, – именно так все и было, сынок. И револьвер был, и черный плащ, и палаш под плащом!»

В цирке, едва только зрители расселись по местам, на арену вышел степенно шпех-шталмейстер в красном камзоле и объявил буквально следующее: «Дамы и господа! Почтеннейшая публика! Мы даем сегодняшнее представление в честь одной присутствующей здесь особы! Дабы не смущать ее, назовем только нежное имя ее: Аннушка... Аннушка, пламень любви сжигает еще неведомое тебе сердце. Отныне оно навеки твое! Смотри, драгоценная. Для тебя будут плясать китайские танцоры! Для тебя – кувыркаться абиссинские акробаты! И тебе, несравненная, будут показаны чудные фокусы! О, Аннушка!..»

В цирке, рассказывал дядюшка Семен, поднялся страшный восторженный шум. Дядюшка Павел вскочил и выстрелил вверх из револьвера. Стреляли и другие офицеры. А какой-то заезжий ротмистр из Уланского Ее Величества полка выбежал на арену и, схватившись за голову, прокричал: «О, какая любовь! Какая любовь, господа!»

И этого тоже санмаринские офицеры не знали.

Единственное, о чем они могли бы догадаться – если б, конечно, не стерлась дата, написанная на обороте снимка карандашом, и если б чудесным образом им стало известно, что на гауптвахте сидит Аннушкин сын, – так это о том, что выпустили дядюшку Никиту очень скоро и безо всяких разбирательств, потому что началась война – великая борьба народов. Столь великая и столь беспощадная, что даже маленькая и ничего не желавшая, кроме любви и покоя, Светлейшая республика Сан-Марино не смогла остаться в стороне – выставила, потрясенная размахом и яростью грянувших батальей, пятнадцать воинов и аэроплан в подмогу могучим и беспокойным государствам Антанты.

Впрочем, если уж говорить откровенно, то вовсе и не стремились санмаринские офицеры, преисполненные деликатности, разведать о том сокровенном, незапечатленном, что омывало безмолвно, как омывают озерные темные воды песчаный островок, эту стародавнюю фотографию, изрядно потускневшую не то от времени, не то от зловредных испарений экваториальных болот. В пояснительной надписи к снимку санмаринские офицеры изложили без выдумок и затей только то, что им было известно доподлинно, ничего не добавляя от себя. «L'amica del gresco»,¹ – написали они просто, и этого было довольно для музея в крохотном домике на склоне горы Титано, который хотели назвать музеем Доблести и Любви и который, к великому огорчению дядюшки Семена и всех жителей Сан-Марино, так и не открылся, потому что молния – будь она проклята! – ударила с апеннинских капризных небес в домик грека, и он моментально сгорел на глазах изумленных воинов. И ладно бы только домик – сгорела книга пророчеств.

Среди пепла и пыли на скорбном пожарище удалось отыскать лишь один обгоревший клочок бумаги. Он поразительно был похож на Африку! Упоминая об этом загадочном факте, дядюшка Семен всякий раз печально склонял на плечо красивую голову и говорил, что лично ему видится некий трагический смысл в том, что зверское пламя, пожирая в безумстве великую рукопись, поперхнулось несчастным клочком бумаги, в очертаниях которого с удивительной точностью, будто их выводила рука добросовестного картографа, отразились все выступы и изгибы безмерно ему родного и безмерно далекого от наших сарматских степей лучезарного континента, где его незабвенный родитель бурно странствовал в оные годы, расточая беспечно таланты и деньги, и хрустальные дни своей огненной юности!

На африканообразном листочке сохранилась одна строка, написанная рукою грека. Кое-где исчезая в пропаленных насквозь дырах, она тянулась с севера на юг – от Ливийской пустыни через плато Эннеди, через реки Убанги и Конго; затем она шла вдоль течения Замбези, струилась к Драконовым горам и, резко свернув на запад, обрывалась на мысе Доброй Надежды.

В строке этой были такие слова:

... и будет любовь вам... золотые мои... открывайте глаза и радуйтесь...

¹ Подружка грека (шпал.).

Часть II

Символы

Родился дядюшка Семен, как и предсказывал грек, еще до возвращения Малаха. И рождение его было столь же торжественным и таинственным, как и зачатие.

Чудесным образом случилось так, что апрельской ветреной ночью, той самой ночью, когда у Аннушки начались первые схватки, вдруг объявился – словно воскрес – дядюшка Павел, летавший всю зиму над Персией на шпионских аэропланах и угодивший, как сообщили Аннушке, вместе с английским асом-воздухоплавателем в турецкий плен под Керманшахом.

В три часа пополудни он подъехал к дому как ни в чем не бывало – как будто с ночного дежурства – на канцелярском беленьком «Дуксе» с бордовыми стегаными сидениями, которым он управлял залихватски, на ходу прикуривая папиросы и охотно пугая конных и пеших зычным клаксоном. Освеженный быстрой ездой и весенним летучим дождем, окропившим его фуражку и новый оливковый френч, над левым карманом которого висел, поблескивая алой финифтью, орден святого Владимира с бантом, пожалованный ему за отчаянные полеты над турецкими батареями, он выглядел бодро и весело, а действовал, как всегда, решительно.

Ни о чем не расспрашивая Аннушку, даже не узнавшую его в бреду (муки все-таки были: тут уж грек ошибался!), он быстро умчался куда-то на еще не успевшем остыть автомобиле и вскоре возвратился, привезя с собою дядюшку Иосю (будущего предателя), корзину цветов и подхорунжего семнадцатого казачьего генерала Бакланова полка. Этот подхорунжий, учившийся когда-то в военно-фельдшерской школе и согласившийся быть тайным повивальщиком, доводился дядюшке Павлу шурином, но был ему больше, чем шурин: многие фотографии, где подхорунжий обычно сидит очень чинно на венском стуле, а дядюшка Павел стоит, положив ему руку на плечо, подписаны нежно и многозначительно: «С Сашенькой – братом моей души». В силу горячей привязанности к дядюшке Павлу и восторженного преклонения перед ним подхорунжий старался походить на него даже внешне, хотя и был значительно моложе его – носил такие же огромные, не совсем подходящие, впрочем, к его угловатому лицу, а-ля Виктор-Эммануил усы и смеялся в точности как дядюшка Павел, на «о» – хо-хо, – широко открывая рот и округляя глаза. То обстоятельство, что у подхорунжего Сашеньки не было с недавних пор правой руки по локоть, – которая, как он рассказывал с удивлением, вдруг кувыркнулась сама собою в густом, качнувшемся воздухе и, улетев саженей на двадцать вперед, еще продолжала катиться, подскакивая, вместе с чьими-то фуражками по примятой траве, когда оторвавший ее ненароком фугасный снаряд союзников уже завершил в германских окопах свой недолгий, но мощный полет, – нисколько не смущало ни дядюшку Павла, ни самого подхорунжего, уверявшего, что если Павлуша ему прикажет, то он и без рук – хоть зубами! – извлечет на свет Божий младенца.

* * *

Однорукий повивальщик оказался и впрямь на редкость ловким и расторопным. Уверенно командуя дядюшкой Иосей, подносявшим кувшины с водой, полотенца и простыни, он не только помог пробудившемуся узнику, окончательно растревоженному под утро токами грянувшей жизни, протиснуться влажной головкой в исполненный всяческих звуков, разнообразно благоухающий и внезапно просторный мир, не только сумел перерезать и перевязать проворными пальцами мутнолиловую пуповину, брызнувшую напоследок животворящими соками, но еще умудрился измерить аршинной тесьмой (вышло неполных двенадцать вершков) скользкое, в цвет печеного яблока тельце, держа его на весу за ноги.

Обычно все это делал бессмертный, любивший сам принимать у Аннушки роды и ощупывать своими руками всех дядюшек, являвшихся на свет. Некоторых он даже уносил на время куда-то в восточные комнаты дома, а потом возвращал Аннушке, наряженных в мундирчики казачьих генералов от кавалерии. Маленьким дядюшкам в этих мундирчиках, щедро украшенных галунами, блестящими пряжками, красными выпушками и прочими яркими знаками доблестной самоотверженности, шеголять приходилось недолго. Едва только их родитель удалялся из Аннушкиной спальни, довольный всеобщим радушием, с которым встречали в доме новоиспеченных кавалеристов, как Аннушка тут же снимала с младенцев эти, как она выражалась, «суконные доспехи» и, не задумываясь, резала их на тряпки, оставляя дядюшкам для забавы лишь медные сабельки и эполеты с гранеными крупными звездами. «Вы не должны этого делать, мамаша!» – ругал ее дядюшка Серафим, усмотревший однажды в мундирчиках нечто очень трогательное и значительное. Старательно разглаживая на коленях кусочки уже засаленного на кухне сукна, он, бывало, часами сидел перед нею на стуле («Точно околоточный!» – говорила она) и время от времени спрашивал:

– Вы понимаете, что это такое, а?

Она отвечала с обидой – не самому дядюшке Серафиму, а его золотым очечкам, тонким, до крайности узким, излучавшим вечный прищур любознательности, что она понимает только одно: что дядюшке Серафиму, очевидно, прищлась по вкусу эта колючая пакость и что его в свое время, вероятно, не следовало бы одевать в коленкоровые распашонки.

– Нет, не пакость! не пакость! – вдруг вскрикивал он, багровея, – а трогательные знаки внимания, исходящие из тайных глубин немотствующего сердца! Вот что это такое, мамаша!.. Символы, символы, – добавлял он, уже успокаиваясь и мгновенно впадая в задумчивость при звуке этого излюбленного им словечка.

Для Аннушки оно было, и в самом деле, не больше чем звук. Как и риторическая фигура в тирадах дядюшки Семена – какой-нибудь вычурный оксюморон, преисполненный непостижимой двойственностью («величая низость» дядюшки Иоси или – его же – «благородная подлость»), – оно лишь смущало ее и иногда настораживало, если дядюшка Серафим повторял его слишком часто. Разглядеть же в нем то, что содержит в себе, по затее Создателя, всякое слово – нетленную душу смысла, – она не могла. И как ни старался дядюшка Серафим, с какой бы мечтательностью и задумчивостью ни выговаривал он это слово – в его произношении гулко-протяжное, с торжествующим, царственным «о»: «символы», – воображение Аннушки (а оно, разумеется, одно только и было в силах освоить эту звучную пустоту, наполнив ее случайными, но живыми картинками) не рисовало ей ничего определенного, ничего устойчивого, до тех пор, пока дядюшка Серафим не додумался объявить символом, да притом еще вечным и многогранным, самого Малаха!

– Вот символ мудрости и любви, доблести и милосердия, и неизбывности жизни! – восклицал он всякий раз, когда Малаха, уже не только изрядно высохшего, но и основательно окостеневшего от длительности существования, извлекали, покрытого пылью и окутанного паутиной, из-под того чудовищного, гробоподобного корыта, которое Аннушка однажды – решительно и навсегда – обрела на скитания по темным углам и чуланам, лишив его сана полезной утвари, потому что оно издавало отвратительное гудение и содрогалось омерзительным образом при малейшем передвижении, или из-под той грациозной, вдруг по какой-то причине оказавшейся в немилости у дядюшки Семена, французской ольховой кушетки «работы, быть может, Фурдинуа или даже, сынок, самого Жакоба!», которая долгое время красовалась на видном месте в его кабинете, гостила не раз сударыней-барыней вместе с огромным фаянсовым глухарем из спальни Аннушки в его гриму-борной и теперь разделяла участь всех опальных и увечных обитателей Малахова чуланчика, где селились с большим удовольствием разжиревшие сколопендры, гигантские пауки, а по рассказам дядюшки Павла – так даже и змеи!

Выносили же Малаха из чуланчика (после того, как он там отыскался) для всеобщего обозрения в шестиугольный зал довольно часто: в дни рождения старших дядюшек, на Пасху и на Рождество. И если дядюшку Серафима приводили в состояние необычайного воодушевления эти праздничные выносы, неизменно сопровождавшиеся деловито-восторженной толкотней вокруг безучастного ко всему «символа» и оживленными, порой чересчур оживленными, но незлобивыми спорами, как и куда его поместить – лежа ли, полулежа ли, на широкое канапе, чтоб он чего доброго не свалился на пол, или все ж таки сидя, непременно сидя, – потому что Аннушка пригласила фотографа, этого чопорного Кикиани, и будет весьма перед ним неловко, – на приземистый, прочный гамбсовский стул с пухлой стеганой спинкой, на котором бессмертный сидел в прошлый раз и который теперь, как назло, куда-то запропастился, а венский совсем не подходит, потому что у венского шаткие ножки, и так далее, и так далее – вплоть до прихода коварного Кикиани, появлявшегося внезапно с двумя молчаливыми ассистентами и застававшего, разумеется, семейство врасплох, – то дядюшку Семена повергали в такое уныние эти, как он выражался, «безумные выносы богомерзкого истукана», что он, несмотря на мучительную потребность излить чувства либо в грозных пророчествах, либо в пламенных инвективах, не в силах был вымолвить ни единого слова. Заложив руки за спину и наклонив голову, он быстрыми шагами удалялся в кабинет еще до прихода Кикиани, и потому его нет на многочисленных праздничных снимках, где все дядюшки – в белых смокингах с бутоньерками на атласных лацканах, где в шелковом платье с оборками и в жемчужных трехъярусных бусах – Аннушка, где престарелый Порфирий, преисполненный гордости и озабоченности, бережно держит на руках неподвластного старости Измаила (так и не согласившегося снять на минутку шляпу с пером, хоть ему и сулил за это щедрый дядюшка Павел подарить серебряный рубль и гусарскую ташку) и где на гамбсовском стуле – он, слава угодникам, все ж таки отыскался! – восседает в огромной мерлушковой папаше нетленный житель захламнейшего из чуланчиков, внезапно извлеченный из его паутинного мрака и еще не успевший привыкнуть к неожиданно светлым просторам торжественной залы.

Дверь в кабинет дядюшка Семен нарочно не закрывал. Ему, вероятно, было необходимо, чтоб и Аннушка, и все дядюшки слышали, как он играет в печальном одиночестве на австрийской стеклянной гармонике, когда-то подаренной дядюшке Мокею за блистательный финиш на скачках в Белграде престолонаследником Сербии. Этим диковинным инструментом, совершенно не нужным «Войска Донского вахмистру Мокею Мандрыкину – победителю конных ристалищ в честь династии Карагеоргиевичей» (такова была надпись на крышке), дядюшка Семен владел безупречно. Умело нажимая на педали и касаясь кончиками смоченных пальцев мерно вращающихся стеклянных полушарий, он заставлял гармонику издавать необычайно певучие, грустные, призрачно тающие звуки. Они разносились по всей северной части дома, а между тем Кикиани, угрюмый и молчаливый, как и его близнецы-ассистенты в одинаковых клюквенных рединготах и в золотистых усах, переставлял дядюшек с места на место, поправлял им с надменной деловитостью цепочки карманных часов или хрустящие, лунносияющие манишки, приглаживал тыльной стороной ладони чей-нибудь чересчур распушившийся бакенбард и даже пытался (что было совсем неучтиво) приподнять подбородок дядюшки Нестера, основательно съехавший набок и прилепившийся крепко-накрепко к левой ключице после осколочного ранения в «славной, огненной и веселой» («Это всё, что я помню о ней, сынок!») Галицийской битве.

Приготовления к волшебному действию механизма, заключенного в фотокамере торгового дома «Фреланд», длились довольно долго. Кикиани, по-видимому, находил особое удовольствие в том, чтоб растягивать томительные для его послушных моделей и упоительные для него минуты, когда он еще во власти переиначивать нечто, уже осененное вечностью, вносить по собственному усмотрению пусть незначительные, но сладостно своевольные изменения в

единственную, незаблемую, предназначенную всецело лишь одному нерушимому мигу картины, где не двинется дальше заветной точки внезапно плененное время.

Во всяком случае, Кикиани, в отличии от веселых, словоохотливых и не в меру проворных французских фотографов Жака и Клода, чьи настоятельные призывы в рекламном разделе «Южного телеграфа» «насладиться изысканной обходительностью наследников оптика Шевалье» иногда находили отклик в доверчивом сердце Аннушки, не торопился снимать с объектива массивную крышку, чтоб описать ею в воздухе (этим ли быстрым и удивительно плавным движением он брал в вечный плен изворотливое мгновение?) чудодейственный круг. И быть может, благодаря медлительности Кикиани случилось однажды немыслимое. В последний момент, когда своенравный фотограф, наконец-таки вдохновленный и удовлетворенный трепетной неподвижностью всего, что вмещала в себя огромная зала, включая капризный подбородок дядюшки Нестера, ценою больших усилий приподнятый на три пальца и как бы прижавший к плечу незримую скрипку, уже скрылся под черной накидкой, из кабинета вышел дядюшка Семен...

О, конечно, конечно, святые отшельники! он вышел вовсе не потому, что им овладел соблазн предстать перед оком камеры в новом бархатном вестоне и в щегольских полосатых брюках, а только затем, чтоб в ореховой горке поискать особую кисточку для удаления пыли со стеклянной гармоники. И если он все ж таки согласился сфотографироваться в обществе дядюшек, а главное – в обществе истукана, то вовсе не сразу, не вдруг и не по собственной воле, а лишь после длительных уговоров и по настоянию Аннушки, заклинаящей его величием праздника Светлого Воскресения Христова воздержаться от мрачного уединения и изнурительного музицирования. И так уж случилось, что на этом пасхальном снимке – единственном в своем роде, ибо там, за его пределами, не слышатся звуки стеклянной гармоники, оставленной музыкантом в бесконечном незапечатленном пространстве, навсегда отделенном неодолимыми рубежами от торжественно ясной картины, как территория обширного государства от маленького, но непобедимого анклава, преисполненного невозмутимости, – на этом снимке дядюшка Семен стоит в самом центре. Он даже нашел в себе силы – и это, быть может, самое удивительное – подчиниться требованию Кикиани, которому вдруг захотелось, чтобы дядюшка Семен как бы в порыве сыновней нежности касался плеча Малаха – не всей пятерней, как это делал дядюшка Павел, имевший обыкновение принимать покровительственные позы по отношению к тем, кого лучезарный миг фотосъемки заставлял рядом с ним в положении сидя, а только кончиком безымянного пальца... Да-да, вот так: изящно, непринужденно и вместе с тем взволнованно и почтительно должен был, по замыслу Кикиани, касаться плеча Малаха дядюшка Семен. Но Кикиани, по-видимому, что-то упустил. Озабоченный наведением порядка в изменчивом строе второстепенных деталей на флангах, он не заметил предательских неточностей, возникших украдкой в самом центре многосложного и величественного иероглифа семейной сплоченности и непоколебимой сердечности, который он старательно создавал и в котором фигура дядюшки Семена являлась немаловажным знаком. Он не заметил, к примеру, что дядюшка Семен отступил на полшага от стула и слегка отклонился назад, что левую ногу он чересчур далеко и слишком небрежно выставил вперед, а правую руку при этом решительно положил на пояс, отчего его бархатный вестон лихо и вызывающе оттопырился на бок. Словом, он не заметил главного – что прикосновение, благодаря этим существенным и несомненно артистичным мелочам, получилось вовсе не задушевым и робким, а скорее холодным и требовательным: гордо глядя куда-то в сторону, дядюшка Семен держит левую руку, украшенную браслетом, над спинкой стула и раздраженно ждет, когда ж наконец догадаются (кто? – ассистенты ли Кикиани, расположившиеся с осветительными приборами у самых границ суверенной неподвижности; вечно нетрезвый Аннушкин ключник, вдруг заявившийся в залу с изрядно початым штофом и твердым намерением похристосоваться с господином фото-

графом; или же сам фотограф) вынести вон возмутительный предмет, на который он давно уже указывает безымянным пальцем.

Впоследствии дядюшка Семен, разумеется, жестоко казнил себя за это вынужденное прикосновение. Он говорил о нем как о самом греховном и самом невероятном в его жизни поступке, и притом с такой безутешностью и с таким молитвенным жаром требовал для себя от архангелов и серафимов немедленной кары, что архангелы и серафимы, не будь они всевидящими, могли бы подумать, что дядюшка Семен, по меньшей мере, выплясывал с сатаной в аду на Святую Пасху. Однако же сам снимок, изготовленный Кикиани на следующий день и тотчас же доставленный с нарочным (от Жака и Клода пасхальные снимки приходили в лучшем случае лишь к исходу Фоминой недели), не только понравился дядюшке Семену, но даже стал со временем предметом его постоянных восторгов и мечтательного созерцания, что объяснялось двумя причинами. Во-первых, дядюшка Семен находил – и в общем-то не без основания, – что на этом снимке он ослепительно великолепен. А во-вторых, его не могло оставить равнодушным очень важное наблюдение, если не сказать чрезвычайное открытие, сделанное в день рождения Серафима дядюшкой Павлом. Последний, листая за чашкой кофе увесистый фотоальбом, обтянутый темно-зеленым плюшем и почему-то украшенный рельефной фигуркою балерины (фотограф в усах и жилете и непременно канотье был бы гораздо уместней), заметил вслух, что на этом снимке дядюшка Семен необычайно похож на своего пламенного родителя.

Нет нужды говорить, что замечание это имело в глазах дядюшки Семена сугубую ценность и силу, так как было высказано в минуту семейного торжества, когда в кругу сыновей находился бессмертный, и так как дядюшка Павел был единственным, кроме Аннушки и одной сумасбродной невестки, кто воочию видел грека и кто, следовательно, мог подтвердить, что блистательный грек, вдохновенный грек, – ах, пора уж, пора назвать его имя: Антипатрос, – что Антипатрос, «придуманный Семушкой от головы до пят», как уверяла дядюшек Аннушка, изводившая тайнорожденного сына лукавой забывчивостью, все же существовал. Нет нужды говорить и о том, что замечание это окрылило дядюшку Семена, взбудоражило его воображение и растрогало до того, что он готов был сию же минуту простить все обиды вероломному дядюшке Павлу, который не раз отрекался в присутствии Аннушки и Малаха от собственных пылких свидетельств – не раз утверждал, что с таинственным греком он никогда не встречался ни в трепещущем на ветру шапито, сплошь расшитом дивными звездами, ни в маленьком скверике у канцелярии, где кроны весенних лип озарялись искристым, рассыпчатым светом, источавшимся из окошка дежурного сотника до первых звуков проворной метлы и неспешной утренней конки, ни где бы то ни было. «Ибо грек, – клялся дядюшка Павел Пресвятой Богородицей, – есть лицо невозможное и в высшей степени фантастическое...»

Следует, однако, особо сказать о том, что радость дядюшки Семена все ж таки омрачало одно досадное обстоятельство. Дело в том, что упоминание о греке уже не могло ни разгневывать, ни растревожить, ни даже смутить бессмертного. То было время, когда он, еще не лишившись слуха, утратил способность отличать звуки речи от иных, не столь многозначащих и не столь затейливых звуков (от жужжания мухи или скрипа дверей), а вслед за этим, увы, и способность вразумительно изъясняться. Из великого множества слов, когда-то ему известных и теперь безнадежно забытых, он сохранил в памяти только нежно журчащее слово «жираф» и никому не понятное «воти-воти». Впрочем, дядюшке Серафиму, кажется, не составляло особого труда понимать это странное «воти-воти». Случалось, к примеру, на Рождество, когда к приходу неизменно мрачного Кикиани или во всякое время шумно-приветливых Жака и Клода готовились с особенным возбуждением, возраставшим по мере того, как набирало силу, становилось все более явственной и головокружительней радостно-сложное рождественское благоухание, которое с утра наполняло дом и в котором солировали попеременно то разомлевшая в теплом жилище сочная хвоя, то жаркие яблочные пироги, то начищенный фисташковой

мастикой паркет, то влажно-прохладные мандарины, Малах, торжественно извлеченный из чуланчика еще ранним утром и на некоторое время всеми забытый, вдруг хватал за рукав дядюшку Серафима, спешившего к месту фотосъемки (в западной части шестиугольного зала) с каким-нибудь «капитальным» распоряжением, и, указывая на высокую, с обвисшими плоскими лапами ель, восклицал:

– Воти-воти!

И дядюшка Серафим, являя чудесную способность мгновенно понимать то задушевное, сложное и разнообразное, что исходило, закованное в одни и те же, быть может, случайные и неразумные, но почему-то полюбившиеся Малаху звуки, из «тайных глубин немотствующего сердца», тут же откликался безошибочными действиями на этот восторженный и вместе с тем требовательный возглас, в котором не столь изощренное ухо расслышало бы, пожалуй, лишь удивление и восхищение пышно наряженной елью или невольное извержение менее ясных чувств, но, разумеется, вовсе не то, что слышалось в нем многомудрому дядюшке Серафиму. Ни на минуту не задумываясь, как если бы Малах изъявил свое необычайное желание – а он в данном случае изъяслял, отцы благоречия, именно желание! – самыми обычными словами, дядюшка Серафим быстро и без разбора снимал с еловых веток все, что попадалось ему под руку – посеребренный шар, стеклярусные бусы, пучок золотистой плющеньки, картонного ангелочка с трубой, ватного пастушка, густо крапленого стеклянной крошкой, и так же быстро украшал этими невыразимо трогательными в своем мимолетном праздничном блеске предметами беспечного пленника дремучего долголетия, который кивал ему, приветствовал его благодарной улыбкой и надолго затихал в блаженном умиротворении.

На снимке того Рождества бессмертный так и сидит: смиренно-счастливый, сияющий, «убранный», по выражению Аннушки, «краше рождественской ели». Снимок этот, кстати сказать, в большей степени, чем другие, обнаруживает независимость своей внутренней, неистощимой жизни от расчетов и замыслов утонченного светописца, во всяком случае, от завораживающего воздействия последнего, вырвавшегося уже из-под черной накидки, артиллерийского жеста, которым он тщетно пытается предотвратить возникновение в детально обдуманной им картине случайных поз, безотчетных движений, произвольной мимики. Подобным жестом – если уж тут упомянута артиллерия – дядюшка Нестер, командовавший батареями в Галицийском сражении и пресекавший с героической беспощадностью отчаянные контратаки австро-венгерской конницы, предварял суровое «Пли!» или сердечное «За сербов-братушек!», пока однажды фугасный осколок, вдруг прекративший визжать у него под шинелью, но еще не завершивший стремительного полета, не опрокинул его с высокого гласиса и не понес, как запомнилось дядюшке Нестеру, «прямо по воздуху», в сторону Луцка, над блиндажами, окопами, над остывающими воронками, над запрокинутыми головами молоденьких канониров, еще не вовлеченных в величественную баталию и потому взиравших на дядюшку Нестера с настороженным любопытством (кто-то из них – ах, провора! – успел ему даже отсалютовать, разглядев-таки звездочки на полевых погонах), над озерцом, оврагом, над поверженным аэропланом, над санитарным шатром, возле которого тучный доктор в уютной бекеше поверх халата и в одном перепачканном глиною сапоге азартно гонялся за контуженным фейерверкером, и, наконец, над безлюдной, мирно цветущей равниной, над которой он удивительно долго и уже совершенно беспечно – уже позабыв и о дружных пушках, весело рыкавших по его команде, и об австро-венгерской коннице, слепо топтавшейся в облаке пыли, и обо всем на свете, – летел, блаженно переворачиваясь и свободно взмывая к солнечным небесам, вместе с планшеткой и щегольской тростью.

Теперь этой тростью из китового уса он с деликатной настойчивостью отодвигает в сторону, подальше от своего лакированного, парадно сверкающего штиблета ногу дядюшки Александра, не обращая ни малейшего внимания на решительный жест фотографа, как не обращает внимания на этот жест и дядюшка Александр, неожиданно повернувший голову,

чтобы высказать дядюшке Нестеру как можно учтивей и дружелюбней свои резоны: во-первых, его теснит Порфирий, тяжело качающийся из стороны в сторону и невольно толкающий всех вокруг, поскольку у него на руках ерзает и капризно выгибается дядюшка Измаил, расстроенный тем, что у него отобрали хоть и затупленный, но все же опасный в руках слабоумного старца-младенца кирасирский тесак (кто его снял со стены и дал Измаилу, Аннушка так и не выяснила); во-вторых, у дядюшки Нестера достаточно места слева, чтоб отодвинуться от дядюшки Александра, если уж он не может позволить своему несомненно изящному и даже восхитительному штиблету соседствовать с грубым ботинком дядюшки Александра; а в-третьих, и это самое главное, дядюшка Нестер не должен воображать, что его героическое увечье, которого, впрочем, по мнению дядюшки Александра, можно было бы избежать, если бы, скажем, дядюшка Нестер не находил особого удовольствия в том, чтобы ухарски красоваться в картинных позах на всевозможных насыпях, холмиках и прочих живописных возвышениях, – что это впечатляющее увечье дает ему право назойливо тыкать своей диковинной и – спору нет – необходимой ему тростью в ногу дядюшки Александра, да к тому же еще, как известно дядюшке Нестеру, в ногу вовсе не настоящую, а любовно и мастерски изготовленную Альфредом фон Винклером в Люксембурге взамен проворной, легкой и радостно неощущаемой, которую он «нечаянно истратил в пятнадцатом году на Кавказском театре», при в общем-то будничных обстоятельствах, наводя виадуки через ущелье для малозначительного маневра заносчивых егерей. Не замечает знака, поданного фотографом, и дядюшка Павел, решивший все ж таки вытащить руку из кармана, но так и не успевший положить ее на плечо Серафиму, и дядюшка Иося, всецело отдавшийся единоборству со своим неотступным мучителем – упругим, как недозрелый лимон (и уже полураздавленным во рту), зевком. Словом, снимок получился настолько стихийным, что если бы на его обороте не фокусничал веселый франт в полосатом костюме и штучной жилетке, развернувший над головою летучим веером семь изящно начертанных букв:

КИКИАНИ

то можно было подумать, что он поспешно сработан Жаком и Клодом, не привыкшими грубо вмешиваться в «l'ordre naturel des choses»,² как они объясняли Аннушке, умело, хотя и чересчур театрально изображая оскорбленных в высоких чувствах художников и нарочно переходя на французский, когда она указывала на явные промахи в их «improvisation eclatante»,³ пытаясь ограничить плату за нее одним лишь задатком. Кикиани, придерживавшийся другого правила, справедливо полагавший, что «l'ordre naturel des choses» не всегда производит благоприятное впечатление на придирчивого заказчика, каким была Аннушка, менявшая семейных светописпев с необычайным увлечением, пока однажды не остановилась на Кикиани, не мог опуститься в своем кропотливом искусстве до неряшливой торопливости, свойственной Жаку и Клоду. И если он все ж таки до нее опустился, то, вероятно, от отчаяния, вызванного тем, что к стройной и в какой-то момент уже завершенной, на его прихотливый взгляд, картине примазывались, предусмотрительно запасаясь скамеечками, стульями, подставками, все новые и новые персонажи, неожиданно изъявлявшие желание увековечить свою праздничную наружность, ступив на территорию сказочного государства, светозарного острова, гото-

² Естественный порядок вещей (франц.).

³ Блистательной импровизации (франц.).

вого стать минуту спустя оплотом восхитительной неподвижности в океане изменчивых образов и текучего времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.